

Очерки по истории русской литературы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
О-95

О-95 Очерки по истории русской литературы / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 498 с.

ISBN 978-5-519-19183-8

Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала.

ISBN 978-5-519-19183-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Большинство статей, вошедшихъ въ составъ настоящей книги, появляется въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ первоначально были напечатаны въ „Русскомъ Богатствѣ“ („Великое Сердце“, „Писатель-гражданинъ“), „Вѣстникѣ Европы“ („Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы“), „Критико-біографическомъ словарѣ“ („Передовой боецъ славянофильства“). Онѣ дополнены только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ надо было ввести нѣкоторыя позднѣе опубликованныя данныя.

Но „Общій очеркъ исторіи новѣйшей русской литературы“ подвергся коренной переработкѣ и почти весь написанъ заново. Первоначальный эскизъ его напечатанъ въ „Энциклопедическомъ словарѣ“ Брокгаузъ-Ефрона, здѣсь же онъ расширенъ болѣе, чѣмъ въ три раза.

Этотъ очеркъ отнюдь не имѣетъ цѣлью давать индивидуальныя характеристики отдѣльныхъ писателей. Задача его—представить общую картину литературнаго или, вѣрнѣе, литературно-общественнаго движенія второй половины XIX столѣтія. Признавая основной чертой русскаго литературнаго творчества его тѣсную и неразрывную связь съ общественной жизнью, я съ этой точки зрѣнія и рассматриваю ходъ литературной эволюціи послѣднихъ 60—70 лѣтъ. Наша литература какъ яркое выраженіе русской общественности—вотъ что я старался прослѣдить въ своемъ „Очеркѣ“.

20 мая 1907 г.

С. В.

Основные черты истории новейшей русской литературы.

Вступительная лекція, читанная въ Спб. университетѣ 24 сентября 1897 года.

I.

На нашихъ глазахъ происходило чудесное превращеніе, глубоко умилительное для нашего національнаго самолюбія. Русская литература, которой еще такъ недавно въ западно-европейскихъ руководствахъ отводилось четыре-пять страницъ,—столько же, сколько литературѣ румынской и новогреческой,—вдругъ стала возбуждать въ Европѣ удивленіе, близкое къ энтузіазму. Хотя Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Грибоѣдовъ уже давно переведены почти на всѣ европейскіе языки, но какъ-то они мало трогали и публику и цѣнителей. Прелесть Пушкинскаго и Лермонтовскаго стиха пропала въ передачѣ, а содержаніе казалось европейскимъ критикамъ подражаніемъ Байрону. Оцѣнить же глубоко-національныя стороны русскаго байронизма, понять насколько въ Онѣгинѣ, напримѣръ, геніально воспроизведены чисто-русскія явленія и теченія, европейская критика, при своемъ полномъ незнакомствѣ съ русской жизнью, конечно, не могла. Еще менѣе могло быть понято ею значеніе Гоголя и Грибоѣдова, съ ихъ воспроизведеніемъ явленій, кажущихся каждому европейцу какою-то грубою и неправдоподобною каррикатурою.

Зато и публика и критика западной Европы въ совершенствѣ поняли и оцѣнили гордость и красу русскаго слова второй половины XIX вѣка—Тургенева. Поразительно, однако, что при всей восторженной внимательности, съ которою Тургеневъ былъ оцѣненъ и изученъ въ Европѣ, это было признаніе чисто-индивидуальное, къ одному Тургеневу относившееся. Никому изъ прозорливѣйшихъ европейскихъ критиковъ не приходило на умъ, что такія снѣговыя вершины литературнаго творчества, какъ авторъ «Записокъ Охотника» и «Дворянскаго Гнѣзда», не мыслимы на плоской поверхности. Онѣ неизбежно должны быть въ связи съ цѣлою горною цѣпью, съ цѣлымъ

рядомъ такихъ же горь. Слѣдовательно, повѣсти и романы Тургенева должны были вырости на глубоко-замѣчательной литературной почвѣ. И только появленіе въ переводѣ «Войны и Мира», «Анны Карениной», «Преступленія и Наказанія», «Обломова» и другихъ русскихъ романовъ подчеркнуло это основное положеніе исторіи литературы. Европейская критика было глубоко удивлена, увидѣвши, что Тургеневъ, котораго она считала лучшимъ прозаикомъ второй половины вѣка, имѣеть литературныхъ товарищей, не только не уступающихъ ему въ значеніи, но въ лицѣ Толстого и Достоевскаго стоящихъ выше его по глубинѣ захвата. Такое открытіе не могло пройти безслѣдно, и мы, дѣйствительно, видимъ, что въ Европѣ теперь говорятъ уже не объ отдѣльныхъ русскихъ писателяхъ, а о русской литературѣ. Сочиненія Толстого расходятся въ международной книжной торговлѣ въ такомъ количествѣ изданій, къ каждому слову великаго русскаго писателя прислушиваются съ такимъ безконечнымъ вниманіемъ, что, въ концѣ концовъ, можно даже задуматься надъ тѣмъ, гдѣ онъ болѣе знаменитъ и любимъ—у себя дома или за границей. Достоевскій произвелъ сильнѣйшее впечатлѣніе и много уже можно указать литературныхъ произведеній, въ томъ числѣ такихъ крупныхъ талантовъ какъ Гауптманъ, Бурже, Д'Анунціо, гдѣ вліяніе великаго патологическаго генія сказалось ярко и наглядно. Но не только великіе представители русскаго слова вліяютъ теперь на европейское творчество—европейскій литературный міръ прислушивается и къ голосу цѣлага ряда второстепенныхъ русскихъ писателей. Въ общемъ, такъ называемое «русское вліяніе» стало виднымъ явленіемъ европейской литературной жизни, что и повело къ знаменательнѣйшему результату: русской литературѣ отводится мѣсто рядомъ съ литературой англійской, французской и нѣмецкой. Это почетное уравненіе нашей молодой письменности съ литературой главенствующихъ народовъ цивилизованнаго міра, заматерѣлыхъ въ культурной жизни, не покажется, конечно, преувеличеніемъ всякому, кто хоть нѣсколько размышлялъ надъ первокласснымъ матеріаломъ, даваемымъ новою и новѣйшею русской литературой. Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, Гоголь, Бѣлинскій и вся плеяда такъ называемыхъ писателей 40-хъ годовъ—развѣ имъ не должно быть отведено мѣсто въ первыхъ рядахъ человѣчества?

Но, собственно говоря, слѣдуетъ придти къ еще болѣе разительнымъ выводамъ. Если брать для сравненія только новѣйшую русскую литературу, *второй половины XIX столѣтія*, то простой перечень ея корифеевъ покажетъ, что мѣсто ея нѣсколько иное. Неужели произведенія Толстого, Тургенева и Достоевскаго стоятъ только *рядомъ* съ англійской и американской литературой второй половины вѣка, куль-

минаціонными точками которой являются романы Джоржъ Эліотъ, Бичеръ-Стоу, рассказы Бретъ-Гарта, туманная поэзія Броунинга и Вальта Витмана? Только ли рядомъ слѣдуетъ ее помѣстить и съ тою нѣмецкою литературою послѣднихъ 50 лѣтъ, во главѣ которой стоятъ Ауэрбахъ, Фрѣйтагъ, Шпильгагенъ и Поль Гейзе? Наконецъ, не со-всѣмъ рядомъ ей мѣсто даже съ французскою литературою послѣдняго полулѣтка, хотя она блистаетъ такими сильными талантами, какъ Дюма-сынъ, Флоберъ, Зола и Гюи-де-Мопассанъ. Нѣтъ, безъ всякаго національнаго бахвальства можно сказать, что по индивидуальному генію своихъ высшихъ проявленій, а главное по основнымъ теченіямъ своимъ русская литература новѣйшаго времени стоитъ безусловно выше новѣйшей западно-европейской литературы, кульминаціонный пунктъ которой—не во второй, а въ *первой* половинѣ вѣка, въ творчествѣ Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Бальзака, Гюго, Моржъ-Зандъ, Диккенса. Развѣ то, что такъ недавно въ Европѣ являлось послѣднимъ словомъ художественнаго прогресса—реализмъ, не господствуетъ у насъ уже около семидесяти лѣтъ? И притомъ, какой же человѣкъ съ развитымъ эстетическимъ пониманіемъ не чувствуетъ, насколько мельче многопрославленный европейскій реализмъ 70-хъ и 80-хъ гг., такъ близко граничащій съ порнографіей и отсутствіемъ идеаловъ, въ сравненіи съ реализмомъ русскихъ писателей? У русскихъ писателей жизненность изображенія въ самомъ дѣлѣ доведена до полного воспроизведенія дѣйствительности, и это до послѣднихъ предѣловъ реальное воспроизведеніе, все-таки, озарено свѣтомъ идеала и полно такой любви къ человѣку, о которой и помину нѣтъ даже у крупнѣйшихъ европейскихъ реалистовъ. Тѣ въ своемъ анализѣ жизни дошли до предѣла, гдѣ трезвость и правда изображенія переходятъ въ невольный апоѳеозъ грубѣйшихъ инстинктовъ животной природы человѣка. И несомнѣнно, что именно въ этомъ различіи русскаго и европейскаго реализма и лежитъ тайна огромнаго успѣха новѣйшихъ русскихъ писателей въ публикѣ и критикѣ западной Европы. Всѣ чувствуютъ, что въ застоявшійся и подернувшійся мутью потокъ европейской литературы вливается какая-то свѣжая струя, полная своеобразныхъ красокъ, составляющихъ не продуктъ гніенія и разложенія, а результатъ органической работы непочатыхъ и не истощенныхъ еще молодыхъ силъ. Вчерашніе варвары говорятъ какое-то новое слово, которому суждено, и отчасти уже пришлось оказать глубокое вліяніе на блѣдное творчество послѣдняго періода европейской литературы; оказать въ силу того, что въ этомъ новомъ словѣ, въ этомъ одухотворенномъ реализмѣ говорить не тоска пресыщенія и немощь старческаго истощенія, а юношески-страстный порывъ къ свѣту и правдѣ.

II.

Какъ относится высокое развитіе русской литературы къ формамъ русской общественной жизни? Литература есть отраженіе жизни, гласитъ историческая наука. У великаго народа всегда бываетъ великая литература и наоборотъ: великая литература есть продуктъ духовнаго существа великаго народа. У великаго народа, казалось бы, должны быть соотвѣтствующія формы общественной жизни.

Таковы теоретическія построенія. Такъ ли оно, однако же, на практикѣ? Нужно ли много распространяться о томъ, что русская общественная жизнь находится еще въ совершенно младенческомъ состояніи? Я, конечно, всего менѣе намѣренъ отрицать, что русская общественная жизнь представляетъ собою великую потенцію. Можетъ быть величайшую изъ всѣхъ потенцій, вложенныхъ въ русскій національный геній, предназначенную удивить міръ своеобразиемъ своихъ общественныхъ построений. Но теперь я говорю о настоящемъ и недавнемъ прошломъ, о той странной гражданственности, которая началась прямо съ учрежденія Академіи Наукъ и, продолжая развиваться въ томъ же направленіи, привела къ тому, что мы стоимъ теперь во главѣ европейскихъ народовъ по своей литературѣ и въ хвостѣ по народному образованію. Общественность же создается только участіемъ въ духовной жизни страны среднихъ и низшихъ классовъ. И вотъ почему въ настоящемъ своемъ видѣ наша общественная жизнь слишкомъ блѣдна и незначительна, чтобы выдержать сравненіе съ кипучимъ потокомъ общественной жизни западно-европейской.

Кромѣ литературы есть другія проявленія интеллектуальной жизни: наука, техника, живопись, скульптура, музыка. Въ какомъ соотношеніи находятся онѣ съ высокимъ развитіемъ русской литературы?

Безспорно успѣхи наши въ этомъ направленіи очень велики. И русское искусство, и русская наука выдвинули не одно славное въ Европѣ имя. Въ общемъ, однако, нельзя не признать, что на поприщѣ науки, пластическаго и тональнаго искусства, Россія не достигла еще той стадіи, при которой могла бы вполне стать на одну доску съ наукой и искусствомъ Западной Европы. А тѣмъ болѣе претендовать на первенство. Достаточно привести въ подтвержденіе, что всякій русскій ученый, техникъ, художникъ и музыкантъ отправляется для «усовершенствованія» за границу. Во всякомъ случаѣ «о русскомъ влияніи» въ наукѣ и искусствѣ Западной Европы пока еще никакой рѣчи не можетъ быть.

И вотъ, если сопоставить фактъ необыкновенно высокаго развитія русской литературы съ тѣмъ, что наука и искусства относительно

не такъ высоко стоять въ Россіи, а общественная жизнь находится въ младенческомъ состояніи, то мы приходимъ къ выводу, что новѣйшая русская литература не только замѣчательное само по себѣ явленіе, но что она *самое замѣчательное* явленіе русскаго духа. Вся совокупность стихійныхъ и историческихъ условій, которая создала широкій размахъ русскаго душевнаго склада, ярче всего выразилась въ литературѣ. Въ силу своеобразнаго положеніи русской интеллигенціи, вслѣдствіе малой культурности окружающей среды, принужденной замыкаться исключительно въ сферѣ интеллектуальныхъ интересовъ—въ силу этого разлада русская литература есть центральное проявленіе русскаго духа, фокусъ, въ которомъ сошлись лучшія качества русскаго ума и сердца. Нигдѣ она не является такимъ *исключительнымъ* проявленіемъ національнаго генія, какъ у насъ. Въ жизни другихъ народовъ литература есть только частный случай общаго культурнаго состоянія страны, частное проявленіе духовныхъ силъ, которыя болѣе или менѣе равномерно распределены по всѣмъ отраслямъ національной жизни. У насъ этого соответствія нѣтъ, литература могущественно развивается у насъ по своимъ особымъ внутреннимъ законамъ, при полной дремотѣ общественныхъ силъ и общественной инициативы. Было бы, конечно, смѣшно думать, что русскій національный геній имѣетъ какое-то особое предрасположеніе къ художественному творчеству и только въ немъ одномъ можетъ проявиться. Дѣло исключительно въ условіяхъ мало-культурной среды, которая одна и есть причина того, что новѣйшая русская литература стала центральнымъ проявленіемъ всѣхъ силъ русскаго духа, при другомъ уровнѣ общественной жизни нашихъ бы себѣ не столь исключительное примѣненіе.

III.

Такое центральное положеніе русской литературы не могло не сообщить ей особенностей, рѣзко отличающихъ ее отъ литературы другихъ европейскихъ народовъ. Главная изъ нихъ та, что *наша литература никогда не замыкалась въ сферѣ чисто-художественныхъ интересовъ и всегда была качедрой, съ которой раздавалось учительное слово*. Всѣ крупныя дѣятели нашей литературы въ той или другой формѣ отзывались на потребности времени и были художниками-проповѣдниками.

Эта знаменательнѣйшая черта съ особенной яркостью обрисовалась въ послѣднія 60 лѣтъ, но начатки ея идутъ очень далеко.

Русская литература начинается съ Кантемира и чѣмъ же былъ этотъ первый лепетъ нашего художественнаго творчества, еще не нашедшаго себѣ даже соотвѣстнаго литературнаго выраженія, еще пользовавшагося антихудожественною формою прежняго, монашескаго періода русскаго просвѣщенія—силлабическими виршами? Воспитанника древнихъ классиковъ, имѣвшаго въ своемъ распоряженіи всѣ роды и виды литературы, не прельстила ни безпритязательная любовная пѣснь, ни отрѣшенная отъ жизни идиллія, хотя въ переводѣ образцевъ этихъ родовъ поэзіи онъ и упражнялъ свой стихъ. Онъ прямо схватился за бичъ сатиры и является въ ней одушевленнымъ поборникомъ и пропагандистомъ петровской реформы. Такимъ же воинствующимъ публицистомъ и страстнымъ агитаторомъ усвоенія европейской культуры былъ и Ломоносовъ въ своихъ одахъ, несмотря на всю низкопоклонность ихъ. Оды Державина тоже вышли изъ невысокихъ побужденій, но настоящій талантъ никогда не можетъ остаться въ сферѣ однихъ низменныхъ побужденій, и въ общемъ оды Державина являются живою поэтическою лѣтописью своего времени и искреннимъ выраженіемъ восторговъ, возбужденныхъ блестящимъ по внѣшности царствованіемъ Екатерины. Характерно, что даже такое, казалось бы, отрѣшенное, по своей темѣ отъ условій мѣста и времени произведеніе какъ ода „Богъ“, непосредственно вытекло изъ полемическаго желанія автора дать отпоръ шедшему изъ Франціи скептицизму. Творчество четвертаго крупнаго дѣятеля XVIII вѣка — Фонвизина уже всецѣло посвящено учительнымъ задачамъ глубокаго общественнаго значенія. Тѣмъ же серьезнымъ общественнымъ задачамъ посвятила себя оригинальная, полухудожественная, полу прямопублицистическая литература памфлета и картинъ нравовъ, которая приняла форму летучихъ листковъ такъ называемой „сатирической журналистики“. Народившійся въ концѣ вѣка сентиментализмъ ударился въ одно приторное воспѣваніе чувства или вѣрнѣе чувствительности, но онъ не привлекъ къ себѣ ни одного крупнаго *художественнаго* дарованія (значеніе Карамзина не художественное), а наиболѣе даровитый изъ пѣвцовъ сентиментализма—Дмитріевъ выказалъ лучшія стороны своего дарованія въ сатирѣ на злобу дня—наводненіе литературы скверными одами. Въ началѣ нашего вѣка выдѣляется дѣятельность писателя, литературная карьера котораго особенно ярко подчеркиваетъ учительное значеніе русской литературы. Мы говоримъ о Жуковскомъ, поэтѣ очень симпатичнаго и изящнаго, но безусловно второстепеннаго дарованія и тѣмъ не менѣе достигшаго первостепеннаго значенія. Чѣмъ же? Тѣмъ, что

онъ взялъ на себя роль учителя въ буквальномъ смыслѣ слова и знакомилъ русское общество съ литературою Запада въ рядѣ превосходныхъ переводовъ. А изъ оригинальныхъ произведеній Жуковского наибольшее впечатлѣніе произвелъ „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“ — откликъ на злобу дня въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Сверстникъ и современникъ Жуковского — Батюшковъ былъ поэтъ болѣе сильнаго и оригинальнаго дарованія, чѣмъ Жуковский, но онъ не достигъ и половины значенія и популярности послѣдняго, потому что его эпикурейская муза, воспѣвавшая наслажденіе, была чужда русскому читателю, привыкшему искать въ литературѣ не только забавы, но и правилъ жизни.

Объ учительномъ значеніи Крылова, конечно, распространяться нѣтъ надобности: оно вытекаетъ изъ самаго существа литературнаго рода, которому посвятилъ себя геніальный баснописецъ. Но не будетъ лишнимъ прибавить, что нигдѣ басня не получила такого развитія и нигдѣ она не получила такого рѣзкаго національнаго отпечатка, какъ въ русской литературѣ 18-го вѣка. Въ то время какъ въ западно-европейскихъ литературахъ (причемъ характерно, что есть литературы, напр., англійская, совсѣмъ не имѣющая выдающихся баснописцевъ) басня привлекала къ себѣ лишь незначительное количество поэтовъ, изъ русскихъ поэтовъ 18-го вѣка нѣтъ почти ни одного, который бы не писалъ басенъ. Какъ всякій геній, Крыловъ есть только кульминаціонный пунктъ цѣлой эпохи процвѣтанія русской басни, замѣчательной еще тѣмъ, что она не ограничивалась простымъ подражаніемъ древней баснѣ, стоящей внѣ времени и пространства и довольствующей моралью самаго общаго и, слѣдовательно, безобиднаго свойства, а бичевала непосредственно пороки и смѣшныя стороны *своего* времени. Конечно, процвѣтаніе басни въ русской литературѣ 18-го и начала 19-го вѣка, а затѣмъ исчезновеніе ея можетъ быть объяснено и тѣмъ, что басня вообще есть младенческая форма литературы, популярная только въ начальномъ періодѣ каждой письменности. Но это объясненіе есть только объясненіе. Оно нимало не колеблетъ самаго факта, что русскій читатель всѣмъ ходомъ своей литературы приученъ смотрѣть на нее, какъ на источникъ учительнаго слова на живыя темы современности.

Начало 1820-хъ годовъ ознаменовано дѣятельностью писателя, въ лицѣ котораго художественно-учительное значеніе русской литературы едва ли не достигло высшей своей точки. За исключеніемъ комедій Аристофана, создавшихся въ литературѣ народа, у котораго совсѣмъ не было личной нравственности, а была одна только нравственность политическая и общественная, ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ драматическаго произведенія, до такой степени насквозь про-

никнутаго гражданскою, въ полномъ смыслѣ слова, скорбью, какъ „Горе отъ ума“. По искренности и глубинѣ негодующаго чувства и вообще по цѣльности настроенія, гениальная „комедія“ Грибоѣдова есть вмѣстѣ съ тѣмъ и настоящая проповѣдь, страстный призывъ идти по другимъ путямъ. И это тѣмъ характернѣе, что самъ авторъ отнюдь не былъ ни Катонъ, ни Аристидъ. Значить силу ему дало богатое общественными настроеніями направленіе цѣлой эпохи, выразителемъ которой онъ явился. Выразителемъ той же эпохи явился и молодой Пушкинъ. Въ Александровскую эпоху Пушкинъ явился живымъ отраженіемъ безпокойнаго настроенія времени и самъ себя характеризовалъ какъ поэта, который „свободу лишь умѣетъ славить“. Въ первыхъ романтическихъ поэмахъ своихъ онъ бросалъ страстный вызовъ всѣмъ старымъ традиціямъ, провозглашалъ свободу чувства и проповѣдывалъ презрѣніе къ условнымъ формамъ. Со второй половины 20-хъ годовъ улеглось броженіе и самаго Пушкина, и общества и поэтъ вступаетъ въ такъ называемый „объективный“ періодъ своего творчества. Но помимо того, что и это стремленіе къ объективному творчеству было отраженіемъ настроенія времени, утомленнаго возбужденіемъ послѣднихъ лѣтъ царствованія Александра и жаждавшаго спокойствія, помимо этого косвеннаго служенія нуждамъ времени, Пушкинъ никогда не былъ въ состояніи совладать съ живою натурою своею и остаться на олимпійскихъ высотахъ безразличнаго творчества. Всеобъемлющій гений его никогда не успокаивался на чемъ-нибудь одномъ и никто точнѣе его самаго не исполнялъ завѣта, который онъ далъ поэту:

. . . дорогою свободно иди
Куда влечетъ тебя свободный умъ.

И такъ какъ отзывчивая натура влекла его то въ одну, то въ другую сторону, то каждая изъ главныхъ литературныхъ теорій нашихъ можетъ подтвердить свои положенія ссылками на Пушкина. Да, въ минуту полемическаго раздраженія онъ дѣйствительно воскликнулъ въ „Черни“:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Но развѣ это же самое стихотвореніе не есть полное нарушеніе провозглашенныхъ въ немъ принциповъ? Вѣдь въ немъ нѣтъ ни звуковъ сладкихъ, ни молитвъ, и въ общемъ оно представляетъ собою яркій образчикъ тенденціозно-дидактическаго запрещенія идти дорогою свободно, куда влечетъ поэта его свободный отъ какихъ бы то ни было запрещеній умъ.

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ